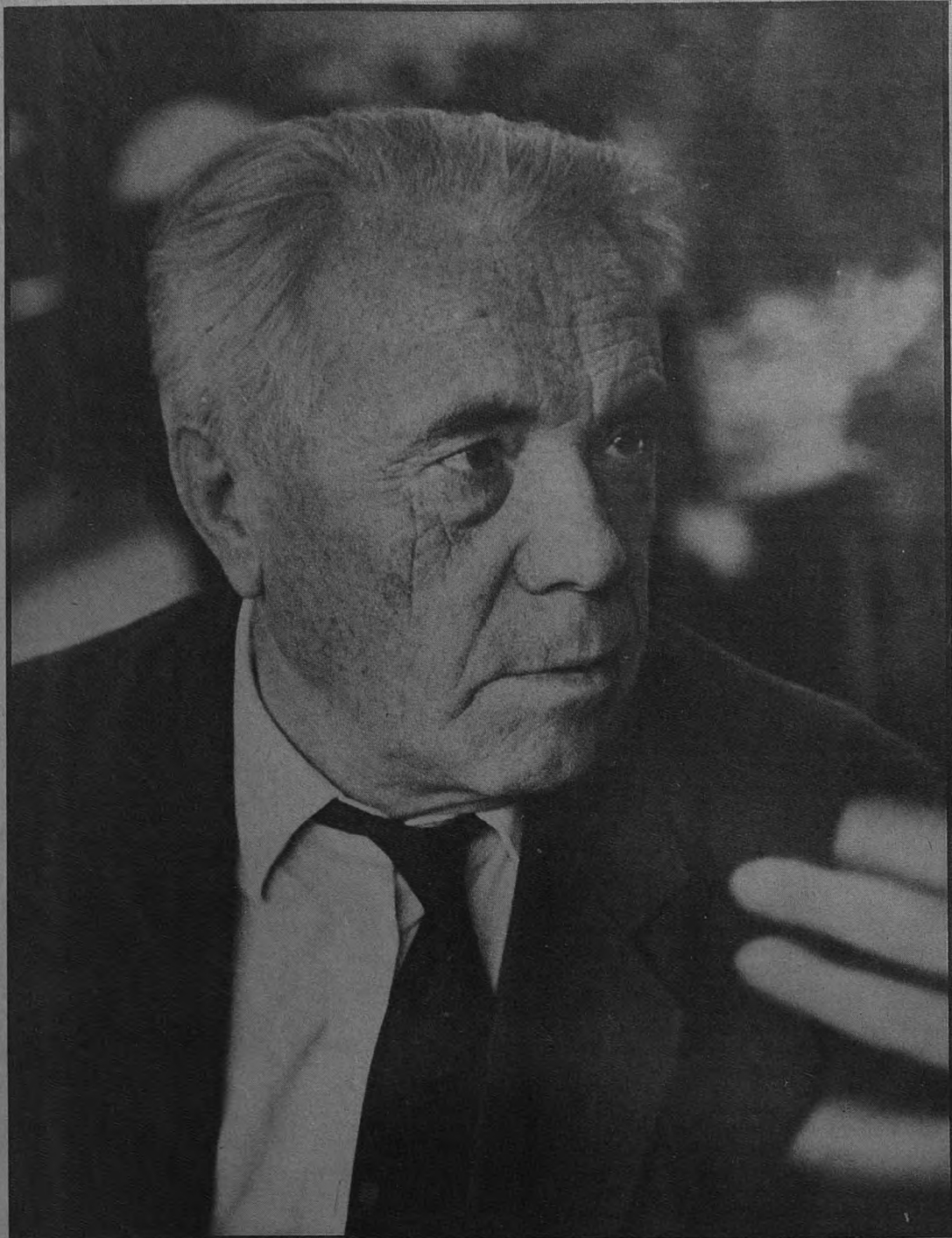




Встр. кафе - 1994 - 11 окт - 47

Вопросы моего постоянного корреспондента и критика из подмосковного города Яхромы Бориса Никитина во многом совпадают с теми вопросами, которые я задаю сам себе каждый день, иначе и не стал бы тратить время на праздное словесное, кое, как и в годы нигилизма в конце XIX века, захлестнуло Россию, «незаметно» перешло в блудное, а блудное — это та опара, на которой киснет, вызревая, тесто всяческих бунтов, смут и революций...

О прошлом

— Сложнее ли стало жить и работать в нынешнее смутное время, Виктор Петрович?

— И жить, и работать стало настолько же легче, проще, содержательней, насколько сложнее и труднее стало жить свободному человеку.

— Свободному?

— А какому же? Ведь каждый теперь сам волен распоряжаться самим собой, временем своим, помыслами и замыслами. Он самостоятельно старается зарабатывать на жизнь, не дожидаясь, когда благодетели (как это было при советской власти) вырешат ему унизительную пайку в виде куса хлеба или гонорара, от которых ноги не протянешь, но и не орезвешь.

— Чего же тогда эти свободные люди (особенно вашего поколения) митингуют на всевозможных собраниях?

— Да ответ-то проще простого: им прежде ни дышать, ни охнуть не позволялось, всякое неподчинение,слушание каралось тюрьмой, лагерем, высылкой, а то и смертью. А тут вдруг полная вседозволенность — выходи, ори чего хочешь, критикуй порядки, властей не признавай... Вот задним числом и мстит всем вчерашний раб, всем, начиная от Сталина и кончая Ельциным. Ну, Сталина-то не очень, его все же немного еще боятся, а Ельцина можно крыть как хочешь, плевать на него, материть даже за себя униженного, растоптанного и ограбленного.

— Но ведь они требуют возвращения в социализм...

— Вернуться туда, в «прекрасное» прошлое к Сталину и Хрущеву, хотят только бывшие вохровцы и прочие ублюдки. Солдаты-окопники не очень-то стремятся обратно в окопы, эски — в лагерь, а рабочие — на табельные производств, где на каждого было по два стукача из КГБ — там не забалуешься, направят и укажут куда надо следовать. Назад хотят те, кто совсем из ума вышел, или те, кому тогда сладко жилось, ну еще и те, про кого великий поэт еще в прошлом веке сказал:

«Люди холопского звания —
Сущие псы иногда:
Чем тяжелей наказания,
Тем им милей господя».

Этим нравится спокойное житье дворян: сиди на цепи, грызи кость и не мыржай или хрюкай, роясь в корыте общепита, потом околей бесплатно в нищенских казенных больницах и приютах, изгнаивай в бараках, а если шибко повезет — в пятиэтажных хрущобах.

— А ваше-то как здоровье, Виктор Петрович?

— Здоровье для моего возраста, наверное, еще подходящее — раз работаю, пишу и в голове возникают новые замыслы. Уставать, правда, стал быстрее, и старые раны, которых что-то много накопилось, стали болеть сильнее. Вот и слух стремительно «садится» — это результат напряженнейшей работы во фронтовой полевой связи. До недавнего времени я после первого же разговора с человеком унавал его голос по телефону и шибко удивлял этим людей. А «феномен» очень прост, и я с гордостью говорю, что, если б его, человека со мной разговаривающего, столько же пинали под задницу и били телефонной трубкой по голове, как меня, он бы тоже сразу начал запоминать голоса, ибо нельзя в бою спутать цифры, допустим 55 и 65; снаряды или уйдут дальше или попадут по своим. Наш молодой командир дивизиона выгнал всех связистов, оставив при себе понятливых «слухачей» — меня и моего напарника. Мы сутки делили надвое, жили и работали в постоянном напряжении, получая за это матюки, пинки и нагоняи. Вот отчего гложет полевую связь.

Но старые фронтовые хвори и воспоминания наталкивают меня на мысль назвать третью книгу романа «Прокляты и убиты» — «Болят старые раны». Так что не бывает худа без добра и добра без худа. Пока это одно из рабочих названий книги, а там уж видно будет: куда перо выведет!

О книжниках и фарисеях

— У всех еще на памяти ваша полемика с покойным Эйдельманом. Вы не отказываетесь сегодня от своих тогдашних суждений?

— Натан Яковлевич обиделся тогда на меня за «еврейчонков». А ведь я говорил о русской

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

«Есть за что нам пороть друг друга»

культуре. О показной и подлинной внутренней культуре людей. Какова одна из главных причин, за которую не только в России, но и во всем мире не любят евреев? Не в последнюю очередь и такая: уж если он, еврей, еврейчонек, вечером услышал, увидел или вычитал что-то оригинальное, новое или умное, а тем паче заумное да еще и запомнил при этом имя редкого автора — допустим, Сальвадора Дали, Джойса, Борхеса, Кафку, — утром непременно известит об этом всех окружающих. Если же на выставке, на концерте, в книге ему что-то не понравилось — он тут же (коли обстановка позволяет) громко выскажет свое отрицательное мнение, дабы хоть как-то обратить на себя внимание, навязать свое понимание людям. Если же на людях высказаться невозможно, тогда хоть под лестницей в коридоре, на кухне или в курилке будет умничать, горлопанить, спорить, не затрудняя себя усилием выкинуть и понять, дойти пониманием до другого, иначе выходящего, думающего и живущего. Безапелляционность тона, этакая избранность, высокое самознание — все это обратная сторона простой начитанности, верхушечных, — кстати, самых легких — знаний... Куда там скромняге Сократу с его знаменитым «...ничего не знаю!» Чтобы так сказать — в какие глубины надо заглянуть? А «знаю» — это же демагогия, корыстное желание подать себя... А как у нас распространены этот неумеренный тип неуча-краснобая! Книжники, фарисеи...

О Солженицыне

— Как вы относитесь к творчеству и личности Александра Солженицына?

— В первое же утро своего пребывания в Красноярске Александр Исаевич приехал ко мне в Овсянку и пробыл здесь, сколько ему позволило время. Мы, не заметив того, проговорили около трех часов «без свидетелей». Солженицын в отличие от меня умеет ценить себя и свое время, поэтому жестко отмечает праздную и любопытствующую публику. Самое главное, что уже минут через десять я чувствовал себя свободно в общении с гостем, помня, конечно, и о его возрасте и о более сложном жизненном опыте. Совместимость — это наипервейший признак большой внутренней культуры человека, какой бы он возраст и авторитет ни имел.

Для меня отныне несомненно, что Александр Исаевич Солженицын является одной из самых выдающихся личностей и крупнейшим писателем современности, а в жизни и общении — просто компанейский человек.

Я поинтересовался у Александра Исаевича «насчет рюмахи», и он без жеманства объяснил: «За обедом одну еще приемлю, а сейчас извините: впереди рабочий день».

— А ребята, — спрашиваю, — парни-то как? — Ну как? Они же у меня русские парни-то, и все русское им не чуждо.

Под конец встречи произошла у нас любопытная сценка. Александр Исаевич пообещал прислать мне литературный словарь (там что-то и из моих книг выписано), и я подал ему модную сейчас «визитку», которые мне отпечатали перед прошлогодней поездкой за границу. А мне нужно было — так договорились с ним — послать в его «мемуарную библиотеку» часть рукописей — воспоминаний фронтовиков, скопившихся у меня в архиве. И Солженицын записал свой адрес на листе бумаги — никаких визиток у него нет и, думаю, не было. Ничего наносного, неестественного, чужого с собой в Россию Александр Исаевич не привез. Более того, я сделал вывод, что он как русский человек и писатель «там», в так назы-

ваемом свободном мире, сохранился лучше в смысле прочности характера, физического и духовного здоровья, куда как крепче и прочнее стоит на земле, чувствует себя и время острее и яснее, чем мы — сыны соцреализма.

— Что из написанного вами читал Солженицын?

— Насчет своих книг я, естественно, его не спрашивал, но из разговора понял, что он читал мои рассказы, в частности «Людочку», и хорошо знает книгу «Затесей». Полутно сделал он мне замечание, что раз эти самые «затеси» вне жанра, то и не надо их пытаться превращать в рассказы. Александр Исаевич не знает, что порой «затеси» в процессе работы перерастают, разворачиваются и сама собой превращаются в рассказ. Половина, если не больше моих крупных по размеру рассказов, в том числе и «Ода русскому огороду», да и та же «Людочка», выросли из наметок и замыслов «Затесей».

— Можно ли Солженицына за его ранние произведения отнести к зачинателям «деревенской прозы»?

— Я не думаю, что «деревенская проза» началась с Солженицына. По-моему, русскими «деревенщиками» были и Пушкин, и Гоголь, и Аксаков, и Тургенев, и Некрасов... А каким тонким «деревенщиком» был интеллигентнейший Бунин! А то, что великий рассказ Солженицына «Матренин двор» оказал определенное влияние на развитие современной деревенской прозы, в том числе и на мою, — вне всякого сомнения...

— По каким вопросам касательно устройства России вы согласны с Солженицыным, а по каким не согласны?

— Об устройстве России говорить нам всем и не переговорить, но лучше бы все же работать каждому на своем месте и как можно усердней и профессиональней. Нас губила и губит полурбота, полуслужба, полунинтеллигентность, полубразованность, полу, полу...

О своем поколении

— Не сожалеете, что когда-то не смогли или не захотели стать крутым диссидентом, ну хотя бы ради всемирной популярности и политической влиятельности?

— Я не мог стать диссидентом ни ради «популярности», ни просто так, потому как не готов был стать таковым: семья была большая, следовательно, мера храбрости малая. Да и внутренней готовности, то есть той же культуры и некоей опять же внутренней раскованности (которая, впрочем, у диссидентов со временем «незаметно» перешла в самоуверенность, в самовосхваление, а у кого и в непристойности) — не хватало мне, но более всего не хватало духовного начала, которое одно

ную любовь к его творчеству. Меня никогда не охватывала зависть к его литературно-киношной удачливости, умению «наживать деньги», что давало ему возможность хотя бы материально жить независимо. И никакой художественной зависимости или духовной я от Нагибина не испытывал, а вот работоспособности его дивился и долгое время он оставался для меня лучшим рассказчиком в стране, умным собеседником, обаятельным выпивохой и просто моим современником, всегда неизменно желавшим мне добра и чистосердечно радующимся моему творческому успеху, если таковой снисходил на меня. Его последний рассказ «Бунташный остров» я считаю шедевром современной новеллистики. Так вот, только так, беспощадно и проникновенно, надо писать о прошедшей войне, о преступлении вождя и партии против тех, кто спас им шкуру; писать, чтобы те, кому нынче хочется повоевать «за свободу и независимость», задумались о том, что их ждет после победы, задумались еще до того, как умоют друг друга кровью и размажут по лицу своему слезы и сопли, как это случилось с нами, изувеченными войной, солдатами.

О Леонове

— Несколько слов и о Леониде Леонове, о котором за его долгую жизнь, кажется, уже все сказано...

— О Леониде Леонове действительно вроде бы уже все сказано, да не все, и не весь он понял и доподлинно истолкован современниками, плотно его втиснувшими в ряды соцреалистов, откуда он тихо, но настойчиво выступал. На похоронах писателя, знаменующим собою целую эпоху, было народу совсем негусто, достойного людей и вовсе жидко. У гроба, в почетном карауле, стояли все больше не писатели, а «инженеры человеческих душ», в последние годы плотно окружившие одинокого старика и изрядно заморозившие ему голову. Впрочем, заморозившие ли? В последнюю нашу людную встречу на квартире писателя лет тому назад, пять-шесть назад, уложив минуту, Леонид Максимович, явно опасаясь гостей, сказал мне вполголоса: «Держитесь подальше от этих людей...»

О России

— Если бы к вам обратились, что бы вы посоветовали нашему правительству или Президенту?

— Не мое это дело чего-либо советовать правительству и Президенту, пусть у каждого болит голова о своем деле. «Указчику говна за щеку», — говорят в моем родном селе. Именно по этой причине еще при Горбачеве я отказался от почетных мест в руководящих органах, отказался быть советником и у нынешнего Президента, равно как и фрейлиной ездить в правительственных делегациях.

— Как живет-дышит провинциальная Россия? Выживет ли?

— Как живет-дышит? Разговор отдельный и длинный. Выживет ли? Хотелось бы, чтоб выжила, дай того Бог, но вот готова ли Россия строить самое себя по ее и богоугодному велению? В этом я не уверен, хотя и вижу ростки, пробивающие бетон и грязь большевистского наследия. Да вон сосед мой, поседевший еще в молодости от пьянства, бьет свою девятностидухлетнюю мать, отбирает у нее пенсию на пропой. Вчера я ходил спасать старуху от побоев — никто уже на ее крики не отвязывается. А потом плечу — мимо окон, опираясь на батонок, идет сама бабка Маня, ковыляет не то в сельсовет — жаловаться на сына, не то его, запропавшего, ищет, плача: «Убили, однако, моего сыночка, убили...». Вот тут и разберись, что к чему и помоги этому народу и стране нашей замордованной, замороченной. Может, наши национал-патриоты придут сюда и помогут? Они здорово знают, как это делается. На словах, правда. А я вот не знаю. «Оторвался от народа», как заявил в газете «Правда» мой недавний друг по каторге, то бишь по литературному труду. Я бы и рад оторваться от него, забыться, да не получается — народ-то этот во мне и я в нем, и крестили нас с соседом в одной церкви, пусть и сведенной с земли большевиками, и горе одно мыкали и мыкаем, и погибали на войне вместе, и о спасении себя и России молились нам вместе — русские мы люди со всеми вытекающими из этого последствиями... А патриоты наши, от фамилий которых так терпко веет ближним зарубежьем: Емельяненко, Сидоренко, Пашенко, Бондаренко, Дорошенко — ловко умеют наставить народ на «истинно верный путь» (прямо-таки ленинский), и самому правительству с Думой указать на сплошные недостатки, а уж Президента-то они неспешно и печатно кроют везде и всюду, потому как сам разрешает и можно ничего и никого не бояться. Свобода! Свобода, мать-перемать!

— Ваше отношение к смертной казни в России?

— Сердобольный наш Президент по существу уже отменил смертную казнь, заменив ее самым кровавым преступникам пожизненным тюремным заключением, а вот порку ввести забыл. А надо бы. Чтобы каждое утро перед парадными дверями главного Красноярского, допустим, административного здания, под любимым советским народом Марш энтузиастов, на центральной площади возле памятника Ленину, на удобном его постаменте быкали пороли бы мужиков — за пьянство, за потерю мужского облика и достоинства, за разгильдяйство, за брошенных детей, за пропиту попку, за ... А мужики бы пороли баб — за гульбу, за матершину, за нежелание рожать, вести дом, хозяйство, за бросание детей, как щенят, за курево, алкоголь, за непочтение мужа своего, за политическую болтовню, за ... Продолжайте дальше — есть, есть за что нам пороть друг друга и, уверяю вас, сразу порядок восторжествует. Не зря же Смердяков у Достоевского уверял, что порядок в России будет до тех пор, пока будет чем пороть российского гражданина, пока растет на берегах ива, лося и другие прутяные деревья...

О литературе

— Виктор Петрович, что прочитали интересного в последнее время?

— Я открыл для себя не просто интересные, но и серьезные современные писатели: петербуржца Михаила Кураева и поэта петербуржца, но уже покойного — Сергея Довлатова. С восторгом прочел в «Новом мире» «Казенную сказку» Олега Павлова и с чувством редкого художественного открытия «Плач красной суки» Инги Петкевич. Правда, дерзкое это произведение с предрезким, но точным названием наш вежливейший, шибко своей субкультурой дорожащий журнал, одернув плессированную юбочку, переименовал соответственно своему духу в «Свободное падение». Ну что ж, лишнее доказательство тому, что падение, да есть свободное, нам всем свойственно, а вот взлет?..

Но не спешите горько вздыхать. В журнал роман этот принес член его редколлегии писатель Андрей Битов. Из этого — ничего бы. Ну причес и принес, случается. Но Инга-то Петкевич — бывшая жена Битова. И это бы тоже ничего. Но зная вкус, образованность и начитанность Битова, я думаю не мог он не заметить, что проза его бывшей жены (как бы это поделкатейно сказать? Да Бог с ней, с деликатностью!) покрелче прозы самого Битова. Поэтому и принес рукопись бывшей жены бывший муж? Если так, значит в литературе нашей современной не все исподличались. Значит... Значит, еще можно и нужно жить, честно работать и надеяться на лучшее.

Беседовал Борис НИКИТИН.